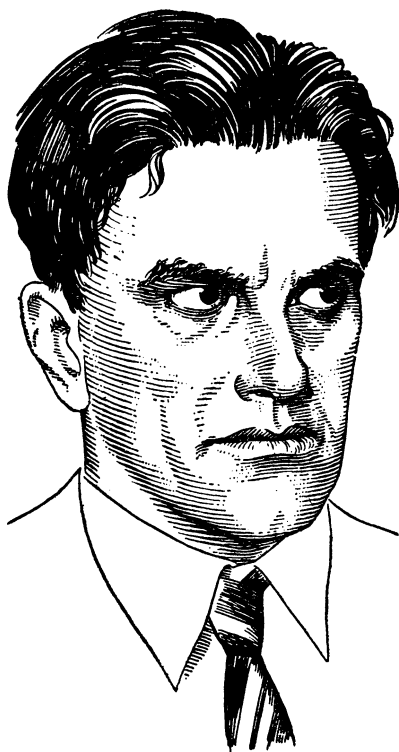


С. ТРЕГУБ

**В Л А Д И М И Р
М А Я К О В С К И Й**

ГОСЛИТИЗДАТ - 1940



С. ТРЕГУБ

ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

МОСКВА ● 1940

Редактор М. Корнев. Технический редактор Н. И. Гарвей.
Корректор Ю. Стружестрах. Изд. № 28. Инд. X—20. Т. 66.
Тираж 50 000. Формат бумаги 70×92 в $\frac{1}{32}$ д. $2\frac{1}{4}$ печ. ли-
ста. 2,52 авт. л. Сдано в набор 29 марта 1940 г. Подп. к пе-
чати 8 апреля 1940 г. Уполномоч. Главлита № А—25285.

Цена 75 коп.

Типогр. Гослитиздата. Москва, 1-й Самотечный, 17. Зак. 590.

I. НОВАТОР

.. где,
 когда,
путь, какой великий выбирал
 чтобы протоптанней
 и легче?

Имя его становится уже легендой.

«Рассказывают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронт и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновленные его строками, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам, буквами вышиной в фут. Его плакаты о гражданской войне были смертельны для врага, как штыки, а его послевоенные стихи были по силе действия равноценны бригадам учителей или целым грузовикам медикаментов для ликвидации неграмотности или эпидемий. Громким, как аэропланый мотор, голосом он по радио читал свои стихи, и советский народ подхватывал их. За его стихами редакторы крупнейших газет гонялись, как за сенсациями, а читатели следили за ними с таким же интересом, как за ежедневными карикатурами, и с такой же серьезностью, как за передовой»¹.

Так говорят о Маяковском в Америке. Быль обрастает фантазией, легенда рождается на наших глазах.

¹ Айсидор Шнейдер. «Интернациональная литература», № 4, 1938 г.

Книги его являются библиографической редкостью. А ведь они вышли миллионными тиражами. Его остроты, никем не записанные, путешествуют по стране. С каким напряженным вниманием слушают воспоминания людей, с которыми он когда-либо беседовал, работал, встречался. На вечерах, посвященных его памяти, обычно спрашивают: — Вы знали его лично?.. Вот счастливцев!

Время торопит писать о нем романы, поэмы, мемуары, исследования.

Две даты:

1893 год 7(19) июля. В селе Багдади, бывшей Кутаисской губернии, в семье лесничего родился Владимир Владимирович Маяковский.

1930 год, 14 апреля. Смерть Маяковского.

Между этими датами заключена его жизнь. Мы проходим по ее вехам. Мы подымаемся от подножья к вершине, и нам становится ясней, понятней происхождение этого поэтического хребта, его рельеф и характер горных пород.

Отыщем его начало. Маяковский учился во втором классе кутаисской гимназии, когда началась революция 1905 года. Людмила, старшая его сестра, привезла из Москвы нелегальную литературу. Будущий поэт знакомится с листовками и брошюрами, затем принимает участие в демонстрациях и школьных волнениях.

Ему было тогда 12 лет.

«Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту: «Убили генерала Алиханова». Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо...» — читаем мы в автобиографии, и нам приходит на память:

... а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.

«906-й год... После похорон отца — у нас 3 рубля...

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся...

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать».

Читая это, мы узнаем истинную цену слов Маяковского:

Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.

В четвертом классе гимназии он знакомится с «Анти-Дюрингом», Гегелем. Прочтена предназначенная «для нелегального просовывания» синенькая ленинская брошюра «Две тактики». «Нет произведения искусства, — упоминает Маяковский, — которым бы я увлекался более, чем «Предисловием» Маркса. Написано первое полустихотворение в школьном нелегальном журнальчике «Порыв».

В 1907 году, в Москве, он через соседей-студентов знакомится с подпольными социал-демократическими кружками, а затем — пятнадцатилетним подростком вступает в РСДРП (большевиков). Работает пропагандистом среди булочников, сапожников, наборщиков; звался «товарищем Константином».

Предвидя возможность получения «волчьего билета» в случае ареста, Маяковский 1 марта 1908 года уходит из 5-й московской гимназии.

Опасения оправдались. Он был вскоре захвачен в подпольной типографии Московского комитета РСДРП (большевиков) и после допроса 9 апреля «ввиду малолетства» выпущен на поруки до суда. 11 октября Московский окружной суд на основании медицинского свидетельства, что подсудимый «в психическом отношении вполне нормальный», признал его «действовавшим при совершении преступления в разуме», и Маяковский вместе со своими партийными товарищами был предан суду Московской судебной палаты.

23 декабря 1908 года был составлен обвинительный акт, а 18 января 1909 года Маяковского арестовали вторично по подозрению в сношениях с группой экспроприаторов. Однако отсутствовали улики. Его освободили через два месяца.

В ночь на 1 июля Маяковский был в третий раз арестован за причастность к организации побега политических каторжанок из Новинской тюрьмы. Спустя полтора с лишним месяца его «за буйное поведение» в участке перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Здесь-то он и начал писать стихи. Но при выходе из тюрьмы тетрадку со стихами отобрали жандармы.

Таково рождение поэта. В прологе к своей поэме «Во весь голос» он говорит о том, что определило его жизненный путь:

Рабочего

громады класса враг —
он враг и мой,

отъявленный и давний.

Велели нам
 итти
 под красный флаг
года труда
 и дни недоеданий.
Мы открывали
 Маркса
 каждый том.
как в доме
 собственном
 мы открываем ставни,
но и без чтения
 мы разбирались в том,
в каком итти,
 в каком сражаться стане.

Осенью 1912 года в училище живописи, ваяния и зодчества Маяковский читал стихи своему товарищу Давиду Бурлюку. Впоследствии Маяковский рассказывал:

«Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт». Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом».

Это было неожиданно не только для Маяковского, но и для всей тогдашней русской поэзии. «Новейшие» модные течения во главе с символистами увлекали поэзию в туманы мистики, индивидуализма, в болото расплывчатых, дряблых, гнилых чувств.

Реакция говорила голосами Мережковских, Гиппиус, Розановых, чьей идейной программой была борьба с ненавистной им революцией.

Они «критиковали» и «разносили» марксизм, воспевали предательство и половой разврат под видом «культа личности». В литературе хозяйничал мещанин, вообразивший себя «сверхчеловеком». Маяковский ворвался в этот мирок литературных звезд, как чужая, забредшая из иных пространств, комета. Сидя в тюрьме, он «перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и ревлпаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я; но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали...»

Про другое нужно было писать по-иному. Нужно было найти свои слова, — он начал искать их, бросив вызов привычной эстетике, начав с «Пощечины общественному вкусу». Это был эстетический бунт, пропашка поэтической почвы, куда он бросал семена зреющего революционного сознания.

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Так началась его литературная биография. При самом своем появлении на поэтической арене он был встречен ожесточенной бранью литературных староверов, которые в рождении его поэтической славы увидели крушение господствовавших эстетических понятий, а вместе с ними и свою собственную гибель. Тупая и корыстная буржуазия травила Маяковского в своих продажных газетах, давила его грязными копытами цензуры, расправлялась с ним в полицейском участке.

Злобное улюлюканье несло по всей России. «Молодые эксцентрики», «рыцари ослиного хвоста», «синтаксис и этимология Бедлама», — надругались в 1913 году «Биржевые ведомости».

«Шуты», «бездарные тупицы», «несчастные умоповрежденные субъекты», — визжало черносотенное «Новое время».

Им вторили «Русское слово», «Речь», «Раннее утро», «День», «Московская газета», даже «Одесский листок», даже «Рязанский вестник»!

Маяковскому исполнилось тогда 20 лет. Им были уже написаны стихотворения «Ночь», «А вы могли бы?», «Несколько слов обо мне самом», трагедия «Владимир Маяковский». Был открыт новый материк поэзии, страна будущего, заселенная людьми, к которым обращал свое слово поэт.

Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.

Он нашел неведомые, простые слова и открыл ими новые людские души. И те, кто «рвал молчание», кто выл, — обрели в его стихах отчетливый, ясный голос. Этот голос гремел и в горестно-гневных, суровых стихах против империалистической бойни — «Война объявлена», «Я и Наполеон», «Вам», — и в стихах лирических, человеческих, по-маяковски нежных — «Скрипка и немножко нервно», «Пустяк у Оки», — и в сатирических «гимнах» — «Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн обеду», — где впервые раздался грозный смех Маяковского.

В 1915 году была написана поэма «Облако в штанах». Маяковский определил ее содержание, как «четыре крика четырех частей»: «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию».

В этой гениальной поэме слышен гул приближающейся Октябрьской грозы, слитый с голосом поэта-провидца:

Их ли смиренно просить:

«Помоги мне!»

Молить о гимне,

об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Где глаз людей обрывается куцый

главой голодных орд,

в терновом венце революций

грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча...

Это было живое ощущение и понимание своего призвания, своего пути, своей цели. Теперь мы знаем, что он был не только поэтическим глашатаем — предтечей целой революционной эпохи, но и ее героем. Это учуяли враги, вопившие о «футуризме» Маяковского и сближавшие

это понятие с революционностью. Не случайно в тогдашнем «Журнале журналов» (май 1917 г.) на одной странице травили поэтического «футуриста» Маяковского, а на другой... «политического футуриста» Ленина!

Особую силу стихов Маяковского чувствовали и по достоинству оценивали друзья идущей революции. Маяковского угадал Горький. Он протянул ему дружескую руку. На одном из литературных вечеров Горький выступил с речью в защиту поэта. Затем появилась его статья, в которой Горький отметил, что среди футуристов есть несомненно талантливые люди, которые в будущем вырастут в определенную величину. Статья была испещрена вымарками цензуры. Но в ней сохранились строки, которыми он выделил Маяковского:

«Вот возьмите для примера Маяковского — он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами... Россия, огромная, необъятная... Сколько в ней великих начинаний, сколько сил непочатых...»

Алексей Максимович привлек Маяковского к участию в своем журнале «Летопись». При содействии Горького в издательстве «Парус» в 1916 году вышла книга Маяковского «Простое, как мычание». В газете, которую редактировал Горький, в мае 1917 года появились стихи Маяковского «Революция» и «Сказка о красной шапочке».

В дни, когда Временное правительство Керенского призывало довести войну до «победного

конца», прозвучали правдивые строки поэта
(«К ответу!»), обращенные к фронтовикам:

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
Свобода?
Бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
За что воюем?

Меньшевицско-плехановская газета «Единство» неистовствовала: «Если до сих пор, — писала она, — только скучные прозаики победно боролись с «империализмом»... Милюкова, француз и англичан, то теперь за это дело взялся в стихах футурист Маяковский. Видимо, плохая политическая проза настолько испортила вкус М. Горького, что он потерял чутье и к поэзии».

В июне 1917 года Маяковский выступил в Петрограде с лекцией «Большевики искусства». А когда грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, для Маяковского не существовало вопроса: принимать ее или не принимать? «Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все что приходилось».

Приходилось многое... Он вооружал народ, боровшийся с врагами революции, огненным, разящим словом, выразительным призывным плакатом. Им было написано около тысячи «Окон Роста». Подписи к ним составляют целый том. Он отдавал «приказы по армиям искусств», снимался в кино, создавал первую советскую пьесу, писал для детей, сотрудничал в десятках газет и журналов, колесил по стране со стихами и докладами. В цирке ставилась его пантомима, на советских товарах красовались его броские рекламы, на улицах звучали его боевые марши. Он возглавлял революционный фронт искусства, редактировал журнал, устанавливал связь с зарубежной передовой литературой, бороздил моря и океаны, всюду и во всем —

Делами,

кровью,

строкою вот этою,

нигде
не бывшее в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетой
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

Из двенадцати томов, в которых заключено литературное наследство Маяковского, одиннадцать написаны после революции. Восемнадцать лет он работал в литературе. Из них — тринадцать в наше советское время.

Родоначальник новой советской поэзии, Маяковский создавал и декларировал новые принципы искусства. Новые, они продолжали наиболее прогрессивную, демократическую традицию русской литературы, утвержденную Чернышевским, Добролюбовым, гражданской поэзией Некрасова. Поэтическая деятельность в эпоху социалистической революции должна отвечать активным задачам борьбы за коммунизм, публицистическим, пропагандистским требованиям этой борьбы. Маяковский убежденно и последовательно применял эти новые принципы, не всегда удачно теоретически обосновывая, но неизменно углубляя их в своей творческой практике. Он вырос и мужал в борьбе за них. В сущности, основой этих положений был ленинский тезис: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела...»¹

Маяковский писал:

«Да здравствует социализм» — под этим лозунгом строит новую жизнь политик.

¹ Ленин. Собр. соч., т. VIII, стр. 387.

«Да здравствует социализм» — этим возвышенный идет под дула красноармеец.

«Днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь», говорит поэт.

Если б дело было в идее, чувстве — всех троих пришлось бы назвать поэтами. Идея одна. Чувство одно. Разница только в способе выражения».

И он неустанно искал их — эти никому не известные, не открытые еще способы поэтического выражения. Он думал о них, работая над «Окнами сатиры» РОСТА, над поэтическими эпопеями и дорожными очерками.

Позже Маяковский так определил осознанную им еще в юности задачу: «Я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила... Создание правил — это не есть сама по себе цель поэзии, иначе поэт вырождается в схоласта, упражняющегося в составлении правил для несуществующих или ненужных вещей и положений... Положения, требующие формулирования, требующие правил, — выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель правил определяются классом, требованиями нашей борьбы».

Здесь есть над чем подумать деятелям нашего искусства, новаторского по всей своей сути, по роли своей, значению и цели.

Маяковского упрекали в нигилизме, в непочтительном отношении к классическому наследию. Пыль этой лжи не развеяна еще и поныне. Ему никак не могут простить призыва «сбросить Пушкина с корабля современности». Даже кое-кто из его почитателей — не мнимых, а настоя-

щих — готовы увидеть в этом «грех молодости», «игру необузданных страстей». Их не смущает заявление Маяковского, что он никогда не занимался «глупым делом» — уничтожением классиков. Их не устраивает и его признание, что сотни раз он будет возвращаться к таким художественным произведениям, как «Евгений Онегин», и «...даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз; учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли».

Маяковский умел признавать и ценить своих поэтических предшественников. Однако это не мешало ему бороться с ними, освобождаясь от их «обвораживающего» влияния.

В августе 1921 года в газете «Агитроста» помещена его статья «Умер Александр Блок»:

«Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк... Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего».

К числу этих «других» принадлежал и сам Маяковский. Он шел по не проторенной историей дороге. Поэт избрал трудный, но единственно верный для себя путь. Его отзыв о Блоке объясняет многое.

Маяковский один из тех корифеев, которые, как говорил товарищ Сталин, имеют смелость и

решимость «ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед», и которые умеют «создавать новые традиции, новые нормы, новые установки».

Голос Маяковского не укладывается в знакомую нам гамму звучаний.

Не против великого Пушкина воевал он, призывая «атаковать генералов классиков». Он восставал против хрестоматийного покоя, против бесполого племени пушкинистов, против попыток ограничить историю нашей литературы гениальным «вчера», заслонить им ее гениальное «завтра».

Пушкину жаловался Маяковский на пушкинистов.

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы,
по-моему,
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!

В этом «неприятии» Пушкина куда больше истинной любви к нему, любви к русской литературе, чем во всех заупокойных литургиях.

Люди, которые так подобострастно, ханжески крестятся Пушкиным, забывают, какая поднялась буря с его появлением на литературном поприще. Недруги поэта усматривали в его сочинениях не только искажение русского языка, русской поэзии, но несомненный вред для эстетического вкуса публики и, больше того, для общественной нравственности.

И все потому, что он не был похож на

Карамзина, признанного Ахиллом русской литературы.

Можем ли мы забыть слова Добролюбова о том, что «до Пушкина отвращение от всякого естественного чувства и верного изображения обыкновенных предметов простиралось до того, что самую природу старались искажать, согласно извращенному вкусу образованной публики. Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть».

Извне вошедшим в русскую литературу показался Гоголь. Ему не было образца ни в России, ни за границей. Оригинальность и самобытность, отличающие его от всех русских писателей, пугали. Он никак не укладывался в прокрустово ложе известных школьных правил, которые были усвоены преподавателями различных риторик и пиитик. Гоголя обвиняли в том, что его произведения «обнаруживают в нем самоуверенность, стремление к самодеятельности, какое-то умышленное, насмешливое пренебрежение к прежним знаниям, опытам и образцам...»

Напоминая об этом, мы можем повторить вслед за Белинским: «...противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами».

Это относится и к недругам Маяковского.

Усматривая в его требовании «сбросить Пушкина с корабля современности» нечто сугубо административное, а не образно поэтическое, они хотят отнять у него право на художественную независимость и оригинальность. В этом истинный смысл «обиды» за Пушкина.

Маяковский думал о поэзии будущего. Чув-

ство нового, которое жило в нем, помогало ему оставаться самим собой. Он мог восторгаться классиками, но не становиться их рабом.

Он знал, что нашей поэзии органически чужды эпигоны, мнящие себя учениками и продолжателями бессмертных художников, а на самом деле производящими бледные, немощные копии прекрасных оригиналов.

Искусство не помнит двух Шекспиров, двух Бетховенов, двух Леонардо да-Винчи. Нет и не может быть нескольких Пушкиных, Лермонтовых, Толстых, Горьких.

«Среди моряков иные открывают новые страны, присоединяют земли к земле и звезды к звездам, — писал Флобер еще накануне своей мировой славы. — Они — учителя, великие и вечно прекрасные. Другие извергают ужас с бортов своих кораблей, берут пленных, обогащаются и жиреют».

Владимир Маяковский поистине открыл много новых «словесных Америк», присоединил к большой земле нашей литературы новые замечательные земли, украсил ее богатыми звездами неба новой сверкающей звездой. Он был открыватель, новатор в настоящем смысле этого большого и значительного слова.

Поэзия — это сиди и над розой ной..
Для меня
невыносима мысль,
что роза выдумана не мной.
Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.

Так писал он в одном из своих малоцитируемых стихотворений. Он не был версификатором-эксцентриком. «Изобретения» его имели острый общественный смысл.

Поэт принес с собой в литературу новый мир, чувства и события, о которых поэзия еще не знала.

Битвы революций
и любовь посерьезнее «Полтавы»
пограндиознее
онегинской любви.

Чтобы запечатлеть величественный пафос своего времени, Маяковский должен был перешагнуть через все готовые поэтические шаблоны и нормы, которыми так широко пользуются посредственные литературные ремесленники.

И он перешагнул.

Он освободил стих от старых поэтических колодок, обветшалых форм, размеров и ритмов, создал свою поэтику.

Многие поэты при жизни Маяковского и после его смерти посвящали свои стихи революционной борьбе, писали и пишут о наших трудах, радостях и победах. Но ни один из них не умел так чутко улавливать то новое, что постоянно, ежедневно рождается в нашей действительности, не умел так далеко видеть.

Вяземский говорил о Пушкине, что он «пробуждает чувства, не «затверженные на память», а свежие и новые...» Этим умением пробуждать свежие, новые чувства всегда отличается настоящий художник.

Маяковский хорошо понимал:

Орать
«Караул!»,
попавши в туман?
На это
не надо
большого ума. . . .
Поэт
настоящий

вздувает
 заранее
из искры неясной
ясное знание.

И настоящий поэт Владимир Маяковский вздувал это ясное знание всей мощью своего поэтического дарования. Как часто он улавливал и угадывал то, что лишь только зрело, лишь начинало прорасти в общественной жизни, в человеческом сознании.

Во время империалистической войны 1914 года он видел грядущий год революции. После великого социалистического Октября он видел «золото новорожденной советской зари» и мир, «обросший» новыми людьми. В тяжелую пору гражданской войны, в годы голода, разрухи, блокады и интервенции он видел, как подымался социализм «живым, настоящим, правдошным».

Ни один из советских поэтов не был так свободен от поэтической рутины, как он.

В библиотеке Маяковского сохранился альманах «Пролетарские писатели» (1924 г.) с его пометками на полях стихов. Сейчас уже нельзя без улыбки читать заржавевшие строки поэм, сохранивших для нас лишь юмористическое, пародийное значение.

Но для Маяковского это была живая литературная среда, с которой он дрался и сквозь которую он пробивал дорогу новому социалистическому искусству. Вот жирно отмеченная Маяковским псевдо-пролетарская «Песня о железе»:

...В железе есть чистость,
Призывность, лучистость
Мимозово-нежных ресниц;
Есть флейтовы трели,
Зажглись и сгорели
В улыбках восторженных лиц ..

В железе есть жгучесть,
Мятежность, певучесть
У скал раздробленной волны,
Напевность сирены
В кипучести пены,
Где тела извивы вольны.

В железе есть ковкость,
Проворность и ловкость
Есть в танцах мозолистых рук.
Есть ток в наших жилах,
В звенящих зубилах,
Вагранками спаянный круг.

Как могло уложиться наше громкое время в рутинерскую схему изнеженного бальмонтовского стиха? Маяковского сводила судорога при виде этого дамского рукоделия, выдаваемого за пролетарскую поэзию.

Рядом со стихами С. Родова «Октябрь»:

Когда ленивому рассвету
Настало время на восток
Коней вспененных выгнать в путь,
Утих дружин ночной поток,
И, притаившиеся, в страхе
Боялись тишину вспугнуть... и т. д. —

появляются пометки Маяковского: «Державин! Ода! «Куликовская битва»?

Какое отношение мог иметь к набору обветшало-традиционных «поэтических» слов Октябрь? Маяковский строка за строкой обличает «красивость» этих стихотворных рулад и полное их несоответствие содержанию. Возле строки «пулемет узоры вышил», он замечает: «Вроде тети, сидит, узоры вышивает». Рядом со строфой:

Когтями гневного времени
Расчесываем зори бурь.
Закоптелые одежды сменим
На завоеванную лазурь, —

он лаконически резюмирует: «Путанное занятие».

Эти достаточно уже древние примеры полны современного смысла.

Что если бы под руку Маяковскому попали стихи нынешних «традиционалистов», производителей чистенького, гладенького и мертвого стиха...

Виджу —
 в сандалишки рифмы обуты,
под древнегреческой
 образной тогой,
и сегодня
 таща свои атрибуты —
шагает бумагою
 стих жидконогий.

И сегодня Маяковский попрежнему ведет вперед нашу поэзию, — он, обогативший русскую литературу новыми формами, непрестанно учившийся у народа творить живую речь.

«Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного, и только перешагнув через себя, выпусчу новую книгу», — был его девиз.

Пуд,
 как говорится,
 соли столовой
съешь
 и сотней папирос клуби,
чтобы
 добыть
 драгоценное слово
из артезианских
 людских глубин.

И он находил это драгоценное слово, способное выразить непревзойденный героизм наших битв и новизну всей нашей жизни.

Маяковский не боялся плыть против господствовавших в литературе течений. Он смело вел борьбу со старыми канонизированными формами,

прокладывая дорогу новой, социалистической поэзии.

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.

Он облакал в живые формы искусства революционную действительность нашей страны, ее великие дела, ее повседневный быт. Стихи его обладают огромной силой революционного воздействия.

... как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца. .
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

«Участие в революции и революционность методов участия» — таковы, по утверждению Маяковского, принципы работы каждого революционного мастера.

Этими принципами руководствуются в наши дни лучшие агрономы, инженеры, геологи, станхановцы. Мастерами социалистического труда делает их не только их участие в революции, но и революционность методов участия. Новаторство становится у нас необходимым качеством всякой квалифицированной работы.

Тем более оно необходимо людям, занимающимся тем делом, о котором Маяковский писал:

Поэзия
вся! —
езда в незнаемое.

Советские поэты — не только наследники Мая-

ковского. Они призваны быть продолжателями его поэтического дела. Они должны унаследовать и развивать его поэтическое мастерство, его новаторские приемы — все, что он завещал советской поэтической молодежи;

.. все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!

Но продолжать Маяковского — не значит быть его жалкими копировальщиками, имитаторами. Лишь те, кто своим талантом умеет прокладывать новые поэтические тропы, открывать в искусстве социализма новые пути, могут продолжать линию Маяковского — главаря новой социалистической поэзии.

Он говорил:

И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз...

Только тот, кто обладает поэтическим воображением, поэтическим предвидением, может считать себя его наследником.

Одним из литературных учителей Маяковского был человек, который сказал о себе:

Я бедный воин, я одинок.
Но все — и темную сомнений ношу,
И белой молнии венки
Я за один лишь призрак брошу,
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра.

«Страна из серебра» — это наше сегодняшнее

светлое утро, вестником которого мечтал стать один из «творян» Велемир Хлебников. Он умер в июле 1922 года, оболганный и ограбленный литературными барышниками. Эпитафией на его могиле звучат слова Маяковского: «Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения». «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей... что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».

Так он писал о Хлебникове, имевшем сотню читателей, из которых пятьдесят считали его просто графоманом.

Что влекло Маяковского к Хлебникову? Он знал, что созданное Хлебниковым в большинстве случаев лишь груда драгоценного поэтического сырья. Его произведения лишены устойчивости и законченности, в них часто бродит смутная, ищущая выражения и формы творческая мысль. Хлебникова трудно читать, теряешься в безбрежном океане его языковой жизнерадостности. Но, — говорил Маяковский, — «Хлебников — поэт для производителя». Любовь Хлебникова к языку, его отношение к слову, как необычайно гибкому, пластичному материалу, чудесно меняющему окраску и форму под руками мастера, его редкая способность находить поэзию в слове определили влияние Хлебникова на многих поэтов. Маяковский видел в нем «Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами». Хлебников писал: «Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого лишишь, и находить словам место

на осях жизни этого народа, крайних точках широты и вышины». В его стихах Маяковский находил целую «периодическую систему слова». Хлебников брал слово с неразвитыми, неизвестными формами, сопоставлял его со словом развитым и доказывал необходимость и неизбежность появления новых слов.

«Я — Разин со знаменем Лобачевского».

Хлебников, создавший сотни новых речений, подчеркивал эту аналогию, ставя себя под знамя знаменитого ученого, создавшего новую геометрию.

Сегодня снова я пойду
туда, на жизнь, на торг, на рынок,
и войско песен поведу
с прибоем рынка в поединок.

Это было близко и дорого революционному духу Маяковского, его поэтическому призванию. Он прекрасно понимал, что так же, как «...физические свойства красок и мрамора не лежат вне области живописи и скульптуры»¹, так же структура и свойства слова, его весомость и зрелость, свежесть и красочность, точность и выразительность, температура и сила не лежат вне области литературы.

Ими, этими свойствами, нельзя пренебрегать.

Маяковский добывал это редкое слово постоянно. О подвижническом труде своем он хорошо рассказал в статье «Как делать стихи» — статье, к сожалению, мало известной широкому читателю и забытой многими литераторами.

Мысль, которую он выражал, становилась поэтической мыслью. Он не раскрашивал ее замысловатыми словесными узорами. Стихи рожда-

¹ Маркс и Энгельс. «Архив», т. IV, стр. 123.

лись и жили в его поэтическом сознании, как свойство, как потребность, как инстинкт.

Конечно, самобытность его поэтических произведений — это его собственная, личная самобытность.

«Сила гениального таланта, — писал Белинский, — основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом: Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека, как личности, как натуры; тогда как обыкновенный талант отнюдь не уславливает собою необыкновенного человека; тут человек и талант — каждый сам по себе, и человек в отношении к таланту есть то же, что ящик в отношении к деньгам, которые в нем лежат. Сильная и богатая натура всегда отличается от натур обыкновенных, никогда на них не похожа, всегда оригинальна, — и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагает она и на свои творения?»

Печать большой личной оригинальности лежит на всех творениях Маяковского.

И в поэзии есть маленькие люди с домашними, семейными страстями. Они могут взобраться на ходули риторики в праздничные для народа дни, зарифмовать любую газетную новость, будучи в сути своей мелкотравчатыми мещанами. У них есть «своя тема», своя скворешня. Вряд ли они запоют по-иному. А если и запоют, то «с точки зрения коменданта того интенданства, которое собирает все это искусство, не будут ли эти поставщики через 5—10 лет привлечены к ответственности за поставку явно гнилого сукна».

Злые эти мысли Маяковского приводят нас снова и снова к нему — большому человеку и большому поэту.

Все, чего бы он ни касался, вырастало в явление. Самые рядовые, обыденные факты приобретали в его «изложениях» покоряющую поэтическую силу; он поднимал их на невиданную высоту. Он не только поэтический оформитель дум и чувств народа, а их выразитель, их глашатай. Так мыслил он, так переживал он. Любая тема, которая волновала страну, была его личной, интимной темой. Мир его переживаний был многообразен, как многообразна жизнь. Он чувствовал себя в непролазном долгу.

... перед Бродвейской лампией,
перед вами,
 багдадские небеса,
перед Красной Армией,
 перед вишнями Японии —
перед всем,
 про что
 не успел написать.

Все это касалось его кровно. События дня не были для него чем-то далеким и чуждым, происходящим за его окном. Наоборот, все, что делалось в стране, все, что делалось в мире, вызывало у поэта горячий отклик. Он был не наблюдателем, а участником событий.

Именно поэтому он обычно отвечал редакциям, просившим у него стихи на злободневную тему: «Знаю, знаю, у меня уже половина написана». Газетное задание не было для него неожиданным. Оно отвечало его собственному поэтическому замыслу, его поэтическим интересам.

Это было для него такой же необходимой потребностью, как питаться и дышать. Он принадлежал к поэтам, о которых Маркс говорил, что они творят «... повинувшись тем же побуждениям, которые заставляют шелкового червя произ-

водить шелк». Это деятельное проявление его природы.

В своей автобиографии Маяковский писал:

«Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном также — только если это отстоялось словом». Все его творчество — стихи, поэмы, агитплакаты, пьесы, феерии — это и есть «отстоявшаяся словом» большая жизнь поэта. И потому, что он «мерил» «по коммуне стихов сорта», каждое выношенное им слово близко и дорого миллионам. Народ находит себя в творчестве поэта, народ ощущает в нем биение своего сердца.

Всякий великий художник, — говорил Горький, — «чувствовалище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи». Таков был Пушкин — полный представитель жизни своего народа. Таков Маяковский. Мир его души — это и наш мир. Мы обнаруживаем его постоянно:

Воскреси
 хотя б за то,
 что я
 поэтом
ждал тебя,
 откинул будничную чушь!
Воскреси меня
 хотя б за это!
Воскреси —
 свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
 похоти,
 хлебов.
Постели прокляв,
 встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
 который горем старящ,

не христарадничать, моля.

Чтоб вся

на первый крик:

товарищ! —

оборачивалась земля.

Мы обнаруживаем этот большой многогранный наш мир и в мольбе поэта к своей возлюбленной и в его, до краев переполненных счастьем, строфах:

Лет до ста

расти

нам

без старости.

Год от года

расти

нашей бодрости.

Славьте,

молот

и стих,

землю молодости.

Поэтические дельцы и пролазы, рвачи и выжи- ги, носившие маску ложной «скромности», осме- ливались обвинять Маяковского в «ячестве» и «эгоцентризме». «Простите, — обычно спрашива- ли его. — Вот вы все время орете: «социалисти- ческое искусство, социалистическое искусство». А в стихах я, да я. Я — радио, я — башня, я — то, я — другое. В чем дело?»

Маяковский разъяснял:

Пролеткультцы не говорят

ни про «я»,

ни про личность.

«Я»

для пролеткультица

все равно что неприличность...

А я говорю

«Я»,

и это «Я»

вот,

балатура,

прыгая по словам легко,
с прошлых
многовековых высот,
озирает высоты грядущих веков.

Время показало, что в действительности было собственное «я» Маяковского. Глаза, которые умеют видеть огромный мир, руки, которые этот мир перестраивают, — вот что такое «Я» большого поэта. Маяковский не мог не сознавать богатства своей личности, он нес их своей стране, и его гордостью было сознание своего места в общем рабочем строю, места «народа водителя и народного слуги», труд которого вливается в труд своей республики.

Безличие мелких поэтов отнюдь не составляет их добродетели. Маяковский знал себе цену, но с какой действительной и неподдельной скромностью он писал:

умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши.

Безымянной, без подписи Маяковского, вышла поэма «150 000 000». «Все, что я сделал — все это ваше», — говорил он современникам.

Высшей гордостью Маяковского было его достоинство советского человека («у советских собственная гордость»), высшим титулом — заветное звание гражданина СССР.

Читайте,
завидуйте,
я — гражданин
Советского Союза.

Неслучайно, именно эти слова мы повторяем, когда хотим наиболее полно и ярко выразить гордое достоинство советских патриотов.

Поэзия — единственное, что составляло его жизнь. Но поэзия была для него неразрывно связана с нашей страной, с торжеством народного — и, следовательно, его, Маяковского, — дела.

Он редко писал письма. Все, что у него «отстоялось словами», появлялось в газетах, журналах, книгах. Кто-то из его друзей сравнил его творчество с бортовым журналом, в котором отмечено движение корабля, любое из происшествий. Наиболее полная летопись жизни Маяковского действительно написана им самим: это его книги.

Он не знал «средних», умеренных и аккуратных чувств. В его стихах бушуют гиперболы, и весь он — превосходная степень.

... Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Это не мания величия, не игра воспаленного воображения. «Маленький Великий океан», «крохотное небо», «нищий миллиардер» — все это смещение величин необходимо Маяковскому, чтобы показать грандиозность тех желаний и чувств, которые присущи человеку-великану, рожденному новой эпохой.

Приветствуя скорое торжество этого нового человека, Маяковский писал еще в 1915 году:

В этих словах — исповедь Маяковского. В них — ключ ко всей его жизни и творчеству. Говорят: великие люди — это великие страсти. Каким же был этот человек, если весь он был одержим одной неистощимой страстью — любовью к «солнечному краю», если коммунизм стал его поэтической плотью, если сверкающий свой талант он отдал борьбе за торжество нашего счастья.

В каждом его слове — правда времени, правда его собственной жизни.

Можно проповедывать и не верить, учить людей целомудрию и распутствовать, скрывать холод и равнодушие за бутафорским огнем адвокатского красноречия. Можно обмануть себя и людей. Но нельзя обмануть искусство, которое питается только соками правды и приводится в движение ударами живого сердца.

О революции Маяковский говорил, как о самом дорогом, самом близком.

Мне б хотелось
 про Октябрь сказать,
 не в колокол названивая,
не словами,
 украшающими
 тепленький уют, —
дать бы
 революции
 такие же названия,
как любимым
 в первый день дают!

Подобно могучему ледоколу он таранил сковывавший его лед недоброжелательности, пробирался сквозь обволакивающий его туман недоверия и зависти.

«Он писал стихи по заказу», — монотонно и неотвязно таякали плюгавенькие шавки. Рвачи и выжиги, обвинявшие поэта во всех смертных грехах, травившие его при жизни и оскорблявшие его память после смерти, переводили на свой обывательский язык полемически-заостренные и полные иронии строки из его предсмертной поэмы «Во весь голос».

И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас, —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирал,
становясь
на горло
собственной песне.

Против лжи обычно не спорят. Ее клеймят. Только ослепленные ненавистью к поэту люди способны думать, что человек, бывший всю жизнь «революционным агитпропом», может всерьез жаловаться на то, что составляет смысл всей его жизни, и завидовать «славе» романсописцев. Только такие люди могли не почувствовать язвительной издевки Маяковского («доходней оно и прелестней!»), могли забыть, с какой открытой гордостью он говорил:

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою, —
ведь мы свои же люди —

пускай нам
 общим памятником будет
 построенный
 в боях
 социализм.

Мне
 и рубля
 не накопили строчки,
 краснодеревщики
 не слали мебель на дом.
 И кроме
 свежевымытой сорочки,
 скажу по совести,
 мне ничего не надо.
 Явившись
 в Це Ка Ка
 идущих
 светлых лет,
 над бандой
 поэтических
 рвачей и выжиг
 я подыму,
 как большевистский партбилет,
 все сто томов
 моих
 партийных книжек.

Это — в разговоре с потомками, с вечностью.
 Это перед лицом коммунистического будущего, в
 котором Маяковский видел высший суд. Поэт
 может предстать перед ним, не боясь никаких
 упреков. Его «большевистский партбилет» ничем
 незапятнан.

Мобилизованный и призванный нашей револю-
 цией

.. на фронт
 из барских садоводств
 поэзии —
 бабы капризной...

Маяковский сблизил поэзию с действительностью, поставил ее на службу социалистической современности, сделал ее оружием в борьбе со старым миром. Он был верен своей родине и партии, верен своему искусству. Как подлинный великий поэт, он знал, что истинное искусство тем долговечней, чем ясней отразит оно свое время. Чтобы «убежать от тления», нужно не обойти современность, не умолчать о ней, а наиболее полно ее выразить. Залог бессмертия художника — в умении почувствовать и запечатлеть свою эпоху. И чем глубже след времени, тем долговечней произведения художника.

— Почему я должен писать о любви Мани к Пете, — спрашивал Маяковский, а не рассматривать себя как часть того государственного органа, который строит жизнь?

Я себя
 советским чувствую
 заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
 чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
 после служебных тягот.
Я хочу,
 чтоб в дебатах
 потел Госплан,
мне давая
 задания на год.
Я хочу,
 чтоб над мыслью
 времен комиссар
с приказанием нависал...

Он сам этого хотел. Он не тяготился заказами, а желал, чтобы ему «заказывали» стихи. «...Я от партии не отделяю себя и считаю обязанным выполнять все постановления большевистской пар-

тии, хотя не ношу партийного билета», — говорил Маяковский на вечере, посвященном двадцатилетию его деятельности... «То, что мне велят, это правильно. Но я хочу так, чтобы мне веле-ли!»

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

В этих строчках идет речь отнюдь не о насилии, учиненном над самим собой, как склонны толковать некоторые «исследователи» Маяковского. В его признании выражена дисциплина и воля бойца. Поэт отказался от жалкой роли «душеусладителя». Он не давал своей песне права быть лирически-камерной, комнатной. В обстановке травли он не позволил себе поддаваться даже минутной слабости.

«... На меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб только ругани не слушать», — жалуется Маяковский в одной из своих речей. Но он тут же смиряет себя. «...конечно, — продолжает он, — я на второй день от этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, начинаю драться, определяя свое право на существование как писателя революции, для революции, а не отщепенца».

Поэтическое слово было для него революционным, коммунистическим делом.

«Я всю звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», — писал он, преданно и муже-

ственно служа рабочему классу в эпоху его генеральных битв.

Маяковский видел огромную силу, поднявшуюся, чтобы переделать нашу планету, «плохо для счастья оборудованную». И он говорил:

Я счастлив,
 что я
 этой силы частица,
что общие
 даже слезы из глаз.
Сильнее
 и чище
 нельзя причаститься
великому чувству
 по имени —
 класс!

Дело рабочего класса Маяковский сделал своим родным, кровным делом. И он нашел свое место «в рабочем строю». Он, поэт, не мог отсиживаться в «литературно-художественном» тылу. Его место было на линии огня.

Теперь
 для меня
 равнодушная честь,
что чудные
 рифмы рожу я.
Мне
 как бы
 только
 почище уесть,
уесть покрупнее буржуа.
Поэту,
 по-моему,
 слабый плюс
торчать
 у веков на выкате...

Маяковский защищал честь своего оружия от высокомерных насмешек всяческих снобов:

«Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал из Орла».

Митинговая речь, фронтовая частушка, агитка-однодневка и стихотворный лозунг были для него «равные, а иногда и ценнейшие образцы поэзии».

У него не было мелкой, разменной монеты. Он за все платил полновесной, звонкой поэтической строкой. Маяковского можно узнать и в раешнике, и в поэме, и в пьесе, и в газетных стихах.

Его стихи запечатлели время в огромном многообразии, в тысяче деталей.

Как будто
 годы
 взял за губ я —
— Станьте
 и не пылите-ка! —
Рукою
 своею собственной
 щупаю
бестелое слово
 «политика».

Для Владимира Маяковского слово «политика» было ощутимым, весомым, реальным. В этом-то и заключался его «газетный темперамент», это-то и делало так часто его стихи «газетными», в лучшем смысле этого слова, то есть отличными от того обычного стихотворного чтива, которое подается в газетах на специальных «литературных» страницах.

Стихи его находили свое законное, естественное место рядом с передовой, международной информацией, корреспонденцией о новостройке и сводкой об угледобыче.

Наиболее показательным и плодотворным в

этом отношении было сотрудничество Маяковского в «Комсомольской правде». Оно не ограничивалось случайным помещением стихов в газете. Содружество поэта с редакцией было теснее, ближе, заинтересованнее. Он запросто приходил в редакцию, рылся в читательских письмах, сочинял подписи к карикатурам, давал аншлаги к газетным полосам, участвовал в редакционных совещаниях, критиковал, прислушивался к критике, знакомился с планами очередных выступлений.

Не нося официально столь распространенного в то время титула «комсомольского поэта», не спекулируя эффектной кличкой «молодежный», он был поистине самым отзывчивым и самым достойным поэтическим выразителем дум и чувств советской молодежи. Он, как никто из советских поэтов, был и остается подлинным воспитателем нашего юношества. Сколько вдохновенных строк посвятил он тем, кому

... пить
 в грядущем
 все соки земли,
как чашу,
 мир запрокидывая.

Ни один из наших поэтов не выразил еще чувств советской юности так глубоко, как Маяковский. Он любил самое слово «молодость», — для него оно было как бы синонимом революции и коммунизма.

Коммунизм
 это — молодость мира,
и его
 возводить
 молодым.

Молодежь — наше будущее, наша надежда. Вот почему поэт так пристально следил за тем, как растет, развивается молодое поколение строителей социализма, и помогал этому росту.

Он призывал «молодых гвардейцев» двигаться «полками по полкам книжным», будоражить мысль новыми чувствами, «выбить моль из вселенной». Он вооружал нашу молодежь маршами и поэтическими лозунгами.

Поэт не мог ограничиться отвлеченными мечтаниями о новом человеке.

Никто в поэтической среде с такой жгучей ненавистью не изобличал врагов, шовинистов, подхалимов, карьеристов, хулиганов, как это делал Маяковский.

Он был неистощим в своей ненависти к обывательщине и мещанству и считал своей честью быть «ассенизатором», очищающим общество от грязи капиталистических пережитков.

Страстные, веские слова Маяковского делали свое дело.

Как подлинный друг, он неустанно помогал коммунистическому воспитанию молодых советских патриотов:

Юноше,
 обдумывающему
 житье,
решающему —
 сделать бы жизнь с кого,
скажу
 не задумываясь:
 — Делай ее
с товарища
 Дзержинского...

Последнее газетное стихотворение Маяковского, помещенное в «Комсомольской правде» уже после его смерти, требовало:

Готовь,
 рабочий молодой,
себя к военной встрече.
И на воде
 и под водой
зажми
 буржуя
 крепче.

Таковы посмертные слова поэта, его завешание, обращенное к нашему юношеству. Этими строками он напутствовал молодежь, поднимал ее мобилизационную готовность перед опасностью военного нападения на страну социализма.

Его поэтический гений воспитан большевизмом, учением нашей партии, наших вождей. Это придало такую значимость его творчеству.

В стихах Маяковского можно обнаружить конкретность сталинских положений и формулировок. Многие его поэтические строки являются отзвуком речей вождя. Поэт выступал как пропагандист, закрепляющий в сознании людей мысли, движущие страну и революцию. Такие стихотворения, как «Столп», «Служака», «Помпадур», написаны Маяковским после речи товарища Сталина на VIII съезде комсомола и под непосредственным впечатлением от этой речи.

Партия большевиков была для него самым дорогим в жизни. Никто из советских поэтов не сумел еще с такой силой и благородством выразить чувства, какими окружает советский народ свою несокрушимую ленинско-сталинскую партию:

Слова
 у нас
 до важного самого
в привычку входят,
 ветшают, как платье.

Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово —
ПАРТИЯ.

Этому величественнейшему слову—ПАРТИЯ—
он посвятил в своем творчестве самые благого-
вейные строки. Он выразил в поэтической фор-
муле убеждение всего советского народа, когда
писал:

Партия —
 это
 единый ураган,
из голосов спрессованный
 тихих и тонких,
от него
 лопаются
 укрепления врага,
как в канонаду
 от пушек
 перепонки.

.

Партия —
 это
 миллионов плечи,
друг к другу
 прижатые туго.
Партией
 стройки
 в небо взмечем,
держа
 и вздымая друг друга.

Партия —
 спинной хребет рабочего класса.

Партия —
 бессмертие нашего дела.

Партия — единственное,
 что мне не изменит.

.

Мозг класса,
 дело класса,
 сила класса,
 слава класса —
 вот что такое партия.

В каждом шаге победоносной социалистической революции он видел ленинское начало, торжество ленинской неукротимой мысли и воли. Вне Ленина, вне величия его дела Маяковский не мыслил себя поэтом.

Ленин сыграл большую роль и в личной судьбе поэта. Он поддержал его на одном из труднейших этапов. Вспоминая об одобрительном отзыве Ильича по поводу стихотворения «Прозаседавшиеся», Маяковский говорил: «Я лично ни разу не был допущен к Стеклову (бывшему редактору газеты «Известия», оказавшемуся врагом народа. — С. Т.). И напечататься мне удалось только случайно, во время его отъезда... И только после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать».

Первое стихотворение Маяковского, посвященное Ленину, написано в апреле 1920 года. Оно называется «Владимир Ильич».

Страна отмечала тогда пятидесятилетие вождя. В помещении Московского Комитета РКП(б) состоялось торжественное собрание. На вечере выступали И. В. Сталин, А. М. Горький. Маяковский не мог не откликнуться на этот большой праздник.

Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Ленина ликующе приветствовал Маяковский «ладонями рифм», у него учился, ему следовал,

его «сердцем и именем» думал, дышал, боролся и жил.

В горестные дни болезни Ильича, когда народ с тревожным вниманием следил за ежедневными правительственными бюллетенями о состоянии здоровья Ленина, Маяковский написал «Мы не верим» — стихотворение потрясающей силы.

Разве гром бывает немостою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионносыльной воле РКП.
Разве жар

такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Здесь все: и безудержная, не уместяющаяся в строки боль, и безграничная, ни с чем несравнимая любовь, и непоколебимая уверенность в бессмертии ленинской жизни.

Маяковский — первый поэт, создавший образ Ленина. Как истинный новатор, он и здесь проложил путь советскому искусству.

Его поэма «Владимир Ильич Ленин» — поэтический памятник вождю. Задуманная еще при жизни Владимира Ильича, она была написана в дни, когда его уже не стало. Принимаясь за работу, Маяковский впервые ощутил, «как бедна у мира слова мастерская».

«Я очень боялся этой поэмы, — рассказывал позже Маяковский, — так как легко было снизиться до простого политического пересказа».

Еще больше боялся он фальши, и в первой главе поэмы высказал те живые, тревожные мысли, которые каждый раз встают перед советским писателем, актером или художником, когда они приступают к работе над образом Ильича. Маяковский писал: «...Я тревожусь, не закрыли ли чоб настоящий, мудрый, человеческий, ленинский огромный лоб», «не залили бы приторным елеем ленинскую простоту»; чтобы «конфетной не был красотой оболган» величайший из земных людей. Эти строки служат по сей день предупреждением всякому советскому художнику, — пусть останутся они навсегда в памяти людей, творящих в искусстве образ Ленина!

Маяковский нарисовал образ вождя, рожденного всей предшествующей историей суровых классовых битв.

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести
первые
про Ленина
восходят вести.

Поэт не ограничил своей задачи внешним портретом Владимира Ильича, не удовольствовался изображением отдельных эпизодов его жизни. Он вложил в этот образ все, что видит в нем каждый ленинец.

Маяковский понимал, что, говоря о Ленине, надо прежде всего показать его дела.

Поэт спрашивает:

Что он сделал?

Кто он

и откуда —

этот

самый человечный человек?

Своей эпической поэмой автор отвечает на этот вопрос. Он не боялся обвинений в публицистике, не страшился «неизящных» слов вроде слова «капитализм».

Создавая широко обобщенный образ пролетарского вождя, он не забыл тех конкретных и живых черт, которые характеризуют Ленина, как «самого земного из всех прошедших по земле людей». Он страстно и зло ополчился в поэме против расплывчатых символических абстракций, в которых теряется неповторимая конкретность великого образа. Поэты «Кузницы» и их ученики писали о Ленине именно так — «гений, пророк, человек-эра». Представление о Ленине у них расплывалось в потоке одряхлевших, ложно патетических фраз.

Маяковский решительно выступал против подобной «иконописи».

Ничего

не выколупишь

из таких скорлупок.

Ни рукам,

ни голове не ощутимы.

Как же

Ленина

таким аршином мерить!

Ведь глазами

видел

каждый всяк —

«эра» эта

проходила в двери,

даже
 головой
 не задевая о косяк.

 Он, как вы
 и я,
 совсем такой же,
 только,
 может быть,
 у самых глаз
 мысли
 больше нашего
 морщият кожей,
 да насмешливей
 и тверже губы,
 чем у нас.

Поэт показывал нам Ленина простого, реального, человеческого.

«Знал он слабости, знакомые у нас, как и мы—перемогал болезни»; «он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу вставал железа тверже».

Ту же конкретность и точность ленинского образа мы видели позже в замечательной игре артиста Щукина—в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».

Пьеса Погодина «Человек с ружьем», — волнующая история солдата Шадрина, встреча его с Владимиром Ильичем в коридоре взбудораженного, вооруженного Смольного, среди жужжащего муравейника людей,—напоминает нам величественную сцену, нарисованную Маяковским:

Штыками
 тычется
 чирканье молний,
 матросы
 в бомбы
 играют, как в мячики.

От гуда
 дрожит
 взбудораженный Смольный.
 В патронных лентах
 внизу пулеметчики.
 — Вас
 вызывает
 товарищ Сталин.
 Направо
 третья,
 он
 там.
 — Товарищи,
 не останавливаться!
 Чего стали?
 В броневики
 и на почтамт! —
 — Есть! —
 повернулся
 и скрылся скоро,
 и только
 на ленте
 у флотского
 под лампой
 блеснуло
 — «Аврора».
 Кто мчит с приказом,
 кто в куче спорящих,
 кто щелкал
 затвором
 на левом колене.
 Сюда
 с того конца коридорища
 бочком
 прошел
 незаметный Ленин...

 Он
 в черепе
 сотней губерний ворочал,
 людей
 носил
 до миллиардов полутора

Он
 взвешивал
 мир
 в течение ночи,
 а утром:
 — Всем!
 Всем!
 Всем это
 фронтам,
 кровью пьяным,
 рабам
 всякого рода,
 в рабство
 богатым отданным —
 Власть советам!
 Земля крестьянам!
 Мир народам!
 Хлеб голодным!

Маяковский связал в один поэтический узел давние мечты тружеников, их заветные думы о защитнике, борце, мстителе с нашей современностью — со знаменем коммуны, которое «видел Маркс над красною Москвою».

Нерасторжимо единство Ленина со своей страной, народом, с большевистской партией, созданной и закаленной им.

Партия и Ленин —
 близнецы-братья, —
 кто более
 матери-истории ценен?
 Мы говорим — Ленин,
 подразумеваем —
 партия,
 мы говорим —
 партия,
 подразумеваем —
 Ленин.

Характеристика героя сменяется в поэме раздумьем, лирическим отступлением, рядом с широкой картиной деятельности Ленина мы находим

мысли и чувства поэта. В монументальном произведении искусства, которое Маяковский создал, мы обнаруживаем не только историческую правду, но и мироощущение самого художника. Такова природа искусства. Чем глубже проникаешь в мир явлений, тем больше открываешь себя.

Наивысшего напряжения достигает поэт в главе прощания с Ильичем. Вся эта величественная скорбная симфония — шедевр поэтического искусства.

... Вовек
 такого
 бесценного груза
еще
 не несли
 океаны наши,
как гроб этот красный,
 к Дому союзов
плывущий
 на спинах рыданий и маршей...

В душе народа, которую выразил Маяковский, он сумел увидеть не только горечь невозвратимой утраты. Он увидел, каким «величайшим коммунистом-организатором» стала «даже сама Ильичева смерть».

Уже
 над трубами
 чудовищной роши,
руки
 миллионов
 сложив в древко,
красным знаменем
 Красная площадь
вверх
 вздывается
 страшным рывком.
С этого знамени,
 с каждой складки

снова
живой
вызывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

Так заканчивается поэма «Владимир Ильич Ленин».

Враги Ленина, — подлые и презренные враги нашей социалистической отчизны, — встретили ее в штыки.

— Вы не дали нам нового Ленина, — упрекнул поэта троцкист Воронский.

— Нам и старый достаточно ценен, — ответил ему Маяковский.

Для Маяковского работа над образом Ленина была жизненно необходимым творческим этапом. Для него писать о Ленине значило — обновить себя, просветлить весь свой поэтический кругозор, осмыслить собственную жизнь.

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.

Именно такой страстной, личной заинтересованности, какую проявил в своей поэме Маяковский, мы вправе ждать и требовать от всех, кто

дерзает создавать в искусстве образ вождя. Только такое отношение способно родить подлинно художественный образ, наполнить его поэтической жизнью.

Величие, красота и сила поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» глубоко волнует не только людей нашей страны. Она покоряла сердца слушателей и за рубежом.

В архиве Маяковского сохранился экземпляр поэмы, убористо переписанный на пишущей машинке, без разбивки на стихотворные строки и без заголовка, — так легче было ее провезти через пограничные кордоны. Главы из нее он читал в 1925 году в Нью-Йорке, в огромном зале «Сентрал Опера Хауз» и на большой поляне перед революционными рабочими в летнем лагере «Нит гедайге». Мощь этого произведения чувствовали даже те, кто не понимал русского языка. «Отрывок из поэмы «Ленин» приковал всеобщее внимание, — писала в отчете о вечере газета «Русский голос»... — Двухтысячная масса была в буквальном смысле слова загипнотизирована».

... В последний раз Маяковский читал поэму 21 января 1930 года в Большом театре на траурном заседании Моссовета. Присутствовали члены Политбюро. Великого народного поэта впервые слушал тогда товарищ Сталин.

Маяковский читал с огромным воодушевлением. Взволнованный зал проводил его бурными рукоплесканиями. Аплодировало Политбюро. Аплодировал Сталин.

— Это самое ответственное мое выступление, — говорил Маяковский.

Вместе со всем народом он видел в Сталине гениального продолжателя ленинского дела.

Поэт мечтал:

Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо.
С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
о работе стихов
 от Политбюро,
чтобы делал
 доклады Сталин.

III. СМЕРТЬ ПОЭТА

*И все
 поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
 пролетали,
до самого
 последнего листка
я отдаю тебе,
 планеты пролетарий.*

«Слава дается людям гением и не зависит ни от каких случайных отношений, — писал Белинский. — Против нее бессильны предубеждения, зависть и злоба. Они даже служат ей, стараясь уничтожить ее, — и если им удастся иногда помрачить ее лучезарный блеск, то не более, как на минуту, и для того только, чтоб она явилась еще лучезарнее: так солнце является в большем блеске, когда пройдут мимо застилавшие его облака, а они не могут же не проходить мимо его!»

Так случилось и со славой Маяковского. Предубеждения, зависть и злоба преследовали его тем ожесточеннее, чем крупнее и значительнее становилось его творчество. Его славу старались уничтожить, омрачить, принизить. Громадная,

необычайно цельная натура поэтического новатора вызывала раздражение у литературных староверов и второгодников.

Атаку на Маяковского вели с самых разных позиций. То оберегали от него русскую поэзию, то охраняли уже всю человеческую культуру, то брали на себя труд защищать от него пролетарскую идеологию, чистоту коммунистического сознания. Но среди всех многочисленных литературных и эстетических противников поэта наиболее яростно ненавидели его политические враги нашей родины. Они понимали реальное значение его творчества и долго, упорно, настойчиво вели подкоп под твердыню социалистической поэзии. Всю многоголосную клевету на Маяковского они собрали в систему, возглавили поход против него.

Омрачить славу Маяковского пытались и при жизни его и даже после смерти.

Сталинский гений развеял облака, пытавшиеся затмить солнце советской поэзии.

Слова товарища Сталина о том, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, что безразличие к его памяти и его произведениям является преступлением, — эти исторические слова явились сокрушительным ударом по всей нечисти, шельмовавшей Маяковского.

Кипучая литературная, общественно-политическая деятельность поэта была ненавистна и опасна для врагов нашей страны.

Особенно их раздражал выход Маяковского в газету, на высокую политическую трибуну.

Не только эстетским высокомерием, но диверсией против большевистского слова были статьи Воронского и А. Лежнева.

Маяковский обращал свое слово к массам, а враги объявили его «непонятным» для масс.

Он был убежденным коммунистом, преданнейшим борцом партии, а враги объявляли его «анархо-индивидуалистом», требовали «перестройки» его сознания, отводили ему место в обозе «попутчиков» революции.

Он писал:

Я меряю
 по коммуне
 стихов сорта,
в коммуну
 душа
 потому влюблена,
что коммуна,
 по-моему,
 огромная высота,
что коммуна,
 по-моему,
 глубочайшая глубина.

А находились люди, которые объявляли его «торговцем заказными стихами».

Мыши грызли гору.

Маяковского упрекали в развязности и рекламном самодовольстве, называли холодным ритором и резонером, торгашески острили по поводу его «рубленных строк».

Идейным отцом всей этой оравы преследователей Маяковского был не кто иной, как Иудушка Троцкий. Это с его легкой руки пошла гулять теория, что Маяковский не слился с пролетарской революцией и что восприятие города, природы, всего мира у него, в «подсознательных истоках», якобы не «рабочее», а «богемское».

Троцкистский служка Авербах и его единомышленники по РАППу уже после смерти поэта изображали путь Маяковского, как долгую и пу-

таную кривую, идейно противоречивую и приведшую в конце концов к естественной трагической развязке.

«Картонная поэма», — язвили его недруги по поводу поэмы «Хорошо», драгоценного поэтического подарка к десятилетию республики. Защищал ее читатель; защищал горячо и влюбленно. Неизвестная девушка из-под Ростова писала Маяковскому:

«Когда на вас нападают, это смешно. Вы как слон, а они как шавки, и это от зависти, я знаю хорошо... Вы мне кажетесь таким большим и светлым, как солнце... Примите от меня, деревенщины, мою благодарность и восхищение, дорогой, настоящий, большой товарищ».

Какое было дело окололитературным шавкам до того, что Маяковский всего себя отдал служению народу!

Для них «пролетарская идеология» определялась лишь... принадлежностью к РАППу. Когда в 1925 году вышла «Антология русской поэзии XX века», стихи Маяковского были напечатаны в разделе: «Футуристы и поэты, связанные с футуризмом», в одном ряду со стихами Северянина. И это после того, как была уже написана поэма «Владимир Ильич Ленин»!

Зато в разделе пролетарских поэтов были щедро представлены многие, чей поэтический след давно затерян...

В критике, в журналах, в издательствах подвизалось немало людей, которые не понимали поэзии Маяковского и своими высказываниями невольно вредили советской литературе. Им были не по вкусу боевые стихи Маяковского. Пламенное перо Маяковского — перо, воспевавшее Великую Октябрьскую революцию, нашу социа-

листическую родину, наш великий народ, называли... шваброй! Например, критик Тальников язвил: «Какие же это «небеса поэзии» и поэтическое «перо»?

Было время, когда с легкой руки Тальникова слово «газетчик» звучало оскорблением и даже бранью. Он писал о «заграничных» стихах поэта:

«Все повествование о своем путешествии Маяковский выдерживает в свойственном ему вульгарно-развязном тоне «газетчика»...

Автор популярного руководства для начинающих поэтов — Г. Шенгели, которому Маяковский посвятил стихотворение «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели», — выпустил в 1927 году книжонку «Маяковский во весь рост». Шенгели торопился подвести итог литературной деятельности Маяковского, считая ее к тому времени уже фактически законченной.

«Талантливый в 14-м году, еще интересный в 16-м, теперь, в 27-м, он уже не подает никаких надежд, — писал «профессор», — уже безнадежно повторяет самого себя, уже бессилён дать что-либо новое и способен лишь реагировать на внешние раздражения вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные стихи».

Маяковский был объявлен «беспризорным культуры». Он был отнесен к категории «недостаточных». Успех его произведений был приравнен к успеху Вербицкой и Ната Пинкертон. Ахматова признавалась «несравненно талантливее, глубже, слсжнее и богаче Маяковского».

Позиция довольно определенная. «Разгромив»

поэта по частям, Г. Шенгели посмел обнародовать следующий вывод:

«Бедный идеями, обладающий суженным кругозором, ипохондричный, неврастенический, слабый мастер, — он вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него».

Сейчас, когда масштаб поэзии Маяковского измеряется масштабом всей советской эпохи, легко оценить значение «приговора» Шенгели.

В профессионально-литературной среде у Маяковского было немного защитников. Он был осужден недругами или людьми глубоко равнодушными к его судьбе.

Парочка авербаховских молодчиков говорила Маяковскому:

«Эх, было бы в 19-м году, разве бы мы стали с вами разговаривать, мы бы вас прямо за это «ушли».

Владимир Маяковский шел против них открыто. Его гневная отповедь гремела и в стихах, и в публичных выступлениях.

На диспуте об «упадочном настроении среди молодежи» в 1927 году Маяковский ополчился против троцкистов Воронского и Сосновского. Он заявил тогда прямо, что «Есенины сами по себе не так страшны, а страшно то, что делают из них Воронские и Сосновские».

В 1929 году, выступая на пленуме правления РАПП, Маяковский подверг уничтожающей критике доклад троцкиста Горбачева о поэзии. Маяковский предложил тогда «доклад Горбачева признать не состоявшимся».

За два месяца до своей смерти, выступая на конференции МАПП, Маяковский под аплодисменты присутствующих громил доклад троцкиста Селивановского.

«Нужно сказать, что то, что говорил Селивановский, в большинстве случаев состоит из весьма спорных положений, но есть и положения бесспорные, только те, которые бесспорные, те совсем неверные».

Маяковский умел бороться, но бороться было трудно. Троцкистско-бухаринская агентура, прикрывавшаяся в борьбе с партией партийным билетом, и в литературе маскировалась в защитные цвета «стопроцентной идейной чистоты». Одетые в броню неуязвимости, они метали в Маяковского отравленные стрелы. Воля о грубости Маяковского, они очень хорошо знали его душевную ранимость.

Поэт не отступал, он был уверен, что «Данте-сам в мой не целить лоб», — а Дантесы взводили курок...

В крепость Маяковского проникало отчаяние.

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —

что ж?

По родной стране

пройду стороной,

как проходит косой дождь.

Строки эти были написаны в 1928 году. Он зачеркнул их, «наступив на горло» своему отчаянию. Но заглушить его не удавалось. Оно давно подкрадывалось уже к поэту.

Еще в 1922 году в статье о Хлебникове он писал:

«После смерти Хлебникова появились в разных журналах и газетах статьи о Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений?! Где были пишущие, когда живой Хлебников,

оплеваемый критикой, живым ходил по России. Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих разный конец». (Разрядка наша. — С. Т.)

Кто были эти живые — сейчас нетрудно догадаться.

В конце 1929 года в клубе 1 Образцовой типографии при обсуждении «Бани» один из злопыхателей спросил:

— Для кого вы пишете свое произведение, — рабочие вас не читают, потому что они вас не понимают, а интеллигенция вас ругает.

Маяковский с горечью бросил:

— Только после смерти вы будете говорить, какой замечательный поэт умер.

Его глубоко оскорбляло навязанное ему звание «попутчика». Этим определением была нанесена ему кровоточащая рана. Даже далеко от родных берегов, в Америке, он рычал от боли.

«До каких пор они будут считать меня попутчиком? — Он рассвирепел. — В чем проявилось за время Октябрьской революции мое попутничество? Я более пролетарский поэт, чем те, кто так называет себя».

Он защищал это свое существо в открытой борьбе с «безработными анархистами» из журнала «На литературном посту», бросая им в лицо:

— Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов РАППа — себе попутчиками.

Его глубоко оскорбляли сплетни и пересуды на всех литературных перекрестках. Он не хотел чувствовать себя постоянным «обвиняемым». Даже детская игра — школьный литературный суд над ним, растравлял его рану. Восьмиклассники одной московской школы решили как-то устроить

литературный суд над Маяковским и пригласили к себе поэта.

Один из участников этого «процесса» вспоминает:

«Маяковский обещал приехать на «суд»... Он мог бы с полным правом пренебречь судом нескольких самонадеянных юнцов, но его больно задело и поторчило, что советские школьники не нашли лучшей формы для изучения его творчества, как форму «суда», где ему предстояло быть подсудимым. Мне показалось, что за пресловутой самоуверенностью Маяковского скрывается чуть ли не застенчивость. Он старался держаться в разговоре с нами шутливого тона, но сквозь него прорывалась иногда горечь, затаенное беспокойство. Узнав, что я буду его защитником, он меня шутливо поблагодарил и сказал, улыбаясь и в то же время немного грустно: «Постарайтесь защищать меня, чтоб меня не засудили...»

Это было в феврале 1930 года — за два месяца до катастрофы.

В это время, в клубе Федерации советских писателей, была открыта выставка творчества Маяковского. Она итожила двадцать лет его работы. На ее открытии Маяковский впервые прочел «Во весь голос». Поэта горячо приветствовали представители московских фабрик и заводов, рабфак-овцы и вузовцы. Писатели не приходили. Выставку замолчали.

16 марта состоялась премьера «Бани». В «Рабочей газете» появилась развязная статейка:

«В общем утомительный, запутанный спектакль, который может быть интересен только небольшой группе литературных лакомок. Рабочему зрителю такая «Баня» вряд ли придется по вкусу»...

За несколько дней до выстрела в Лубянском проезде больному Маяковскому стало известно, что журнал «Печать и революция» поместил портрет поэта и приветствие ему в связи с 20-летием его литературной деятельности. Прибыл номер журнала. Портрет и приветствие оказались изъятыми человеком, впоследствии разоблаченным как враг народа.

Ник. Асеев в «Последнем разговоре» передал состояние Маяковского в эти дни:

Хочешь знать,
 как дошел до крайности?
Вся жизнь —
 в огневых атаках
 и спорах —
долго ли
 на пол
 с размаху грянуться,
если под сердцем
 не пыль, а порох?

Торопясь поджечь этот порох, враги спрашивали в упор:

— Маяковский, когда вы застрелитесь? Ведь все хорошие поэты кончают жизнь трагически.

Им нужно было убрать со своего пути этого благородного и мужественного «агитатора, горлана-главаря», не боявшегося трудностей борьбы, всегда стоявшего на боевом партийном посту, и они толкали его руку к револьверу.

Раздраженный, израненный ядовитыми уколами, Маяковский метался, отпугивая от себя товарищей по работе. К 14 апреля он оказался среди случайного окружения скептически настроенных к нему и к его настроениям людей.

Ближайшие его друзья, которым он доверял, с которыми привык считаться во всех важнейших

случаях, в это время отсутствовали — они были тогда далеко от Москвы.

Ощущение непонятости литературной средой той огромной работы, которую он проделывал, ощущение, подогреваемое постоянными враждебными выпадами против него, — совпало с личной неустроенностью, одиночеством, с тем, что «любовная лодка разбилась о быт». И Маяковского не стало.

Поэт чувствовал себя «советским заводом, вырабатывающим счастье», — и подлые враги исподволь, тайком взрывали этот завод, как взрывали другие заводы. Они сразили Маяковского, не сумев сбить его с боевых позиций социалистической поэзии.

Заметая следы преступления, они поспешили утешить общественное мнение тем, что самоубийство Маяковского, мол, вызвано «причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта»...

* *

*

Все это не только воспоминания. Борьба за Маяковского продолжается и сейчас. Правда, никто в наши дни не решается выступить открыто с хулой на поэта. Но те, кто вынужден был присоединиться к общественному мнению о величии Маяковского, пытается и сейчас ограничить и умалить его значение. Они пытаются ослабить влияние Маяковского на поэзию нынешних дней, отодвинув его в историю литературы.

Его не удалось вычеркнуть из живой советской поэзии, так вытолкнем его на пьедестал! Пусть он окаменеет и забронзовеет в хрестоматии.

тии. Мертвый маршал, — рассуждают они, — менее опасен, чем живой боец. Они лицемерно готовы признать за ним право на века, только для того, чтобы отнять у него право на современность.

Поэт хотел разговаривать с поколениями, как «живой с живыми». Недруги же хотят только пышно похоронить его.

Эти тенденции проявляются в последние годы по-разному. Одни готовы признать Маяковского поэтом «конгениальным» лишь эпохе гражданской войны, другие — лишь «одним из лучших пролетарских поэтов». Цитируя сталинский отзыв о Маяковском, они тайком опускают слово «остается», сохраняя слово «был». Выходит, что весь Маяковский принадлежит прошлому.

Третьи пытаются расцезь его на куски, отбросив все его дореволюционное творчество. Мы, мол, любим Маяковского не за «Облако в штанах», и не за «Флейту-позвоночник», а за его послереволюционные произведения.

Четвертые пугают нас ужасной опасностью канонизации Маяковского, которая вот-вот грозит советской литературе.

Какие бы оттенки побуждений ни отличали этих людей друг от друга, ясно одно: всех их роднит страх перед Маяковским. Их пугает в нем все. И грозное оружие его стихов, и постоянная опасность сравнения с ним, и действенная сила оставленных им отзывов и характеристик, и не утраченное им даже после смерти звание первого поэта нашей современности.

В естественном и последовательном процессе его творческого развития они склонны усматри-

вать смену его убеждений, основ его мышления. Говоря об «эволюции» Маяковского, они расшифровывают этот термин, как переход Маяковского с одних идейных позиций на другие. Все еще живучи вульгарно-примитивные схемки, согласно которым Маяковский до Великой Октябрьской революции значится «социалистом-утопистом», ему, дескать, тогда не были еще ясны подробности будущей перестройки мира (авторам бойких статей все было ясно с пеленок!). На дореволюционные произведения поэта наклеивается ярлык «не пролетарские». Так безобидным понятием «эволюция» пытаются опорочить идейную чистоту, незапятнанность поэта. Конечно, великий Октябрь многое прояснил в сознании Маяковского, окрылил его. Но поэт шел к революции не кривыми переулками и тупиками. Никогда ему не приходилось менять вехи. Он рос, как растет все живое: расправляясь и набирая силы.

Способны ли все шаткие домыслы омрачить лучезарный блеск Маяковского?

Боевым девизом его было:

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

Свет его стихов-лучей неистощим. Коммунистическое далеко, о котором так часто думал поэт, вставало перед ним «настоящей, правдошной» явью. Это был завтрашний день, который он не только предвидел, но в котором он уже жил; он дышал воздухом этого завтрашнего дня,

шагал по бескрайнему, радостному простору, наслаждался его величественной и несравненной красотой. Узкая черта «собственного» физического бытия была им перейдена еще при жизни. За ней, этой чертой, лежала вечность, бессмертие.

Маяковский — поэт огромного международного значения. Творчество его оплодотворяет и будет еще многие годы оплодотворять всю новую революционную поэзию мира.

Вот как оценивают Маяковского художники Запада:

«Он — поэт большой международной значимости. Этим я хочу (подчеркнуть, что он сделал существенный вклад в дело развития поэзии, что он стоит в одном ряду с Гомером, Шекспиром, Гете. Сказать это — отнюдь не означает сравнивать его с Гомером или Шекспиром; его творчество настолько своеобразно, что подобные сравнения просто неуместны. Можно смело сказать только, что его творчество является поворотным пунктом в истории поэзии, классическим отражением целой великой эпохи».

Это объясняется не только грандиозностью поэтического дарования Маяковского. Ни одна эпоха в истории России не имела такого широкого международного резонанса, как наша — советская эпоха. СССР стал маяком для всего прогрессивного человечества. Вот почему так широко и магнитное поле нашего искусства.

Когда оппоненты Маяковского приставали к нему с назойливо-ироническим вопросом: долго ли проживут ваши стихи? Он спокойно отвечал им:

— Они будут жить вечно. Великая Октябрьская революция будет жить вечно, а я — ее поэт.

И он был прав. Стихи его будут жить не только вечно, но и повсеместно.

Как живой с живыми, продолжает он говорить со своими читателями. Пламя его революционной страсти зажигает сердца миллионов.

Поэзия его принадлежит не прошлому, а нашему настоящему и будущему — современникам и потомкам.

И пусть торопит наше и грядущие поколения голос Маяковского:

Мне скучно
 здесь
 одному
 вперед! —
поэту
 не надо многого, —
пусть
 только
 время
 скорей родит
такого, как я,
 быстроногого.

ЦЕНА 75 коп.